

Газета «Вести» продолжает серию публикаций, посвященных 165-летию героической обороны Петропавловского порта в 1854 году по материалам сборника «Защитники Отечества» Дальневосточного книжного издательства (1989). Составитель сборника Б. П. Полевой.

Сегодня вниманию читателей предоставляются отрывки из воспоминаний жены организатора обороны, первого военного губернатора камчатки Василия Степановича Завойко – баронессы Юлии Завойко.

Вместо предисловия

Безусловно, Юлия Завойко обладала настоящим литературным даром. Ее воспоминания читаются легко, словно мы сами становимся свидетелями того яркого, трудного и героического времени. Особенно волнующими, на мой взгляд, выглядят сцены прощания Василия Завойко с семьей и записки, которыми обменивались супруги Завойко.

«— Будьте честными слугами Царя и Отечества. Не забывайте, что ваш отец готовится положить за него жизнь!

С молодых лет он службе посвящал все силы и, готовясь к смерти, передавал этот завет детям. Простились и мы... Дружно провели мы всю молодость в пустыне, среди забот и лишений.

Вдруг раздался болезненный, пронзительный вопль Жоры:

— Маменька, оставьте меня с папенькой, ведь он остается один, один... С вами все восемь. Оставьте меня с ним; я умру подле него.

– Друг мой, – отвечает отец, – меня долг призывает умереть, а тебе, дитя мое, как старшему, я поручаю маму, сестер и братьев. Из любви ко мне иди с ними, заступи мое место, береги их».

«Неприятель поднял американский флаг. Всего шесть судов: четыре фрегата, пароход и бриг. Бог за правое дело: мы их разобьем. Кто останется жив, про то Бог знает. Но мы веселы и тебе желаем не скучать. Останусь жив – увидимся, не останусь – Бог так велел. Царь детей не оставит, а ты сохрани их чтоб они были люди честные и служили Отечеству. Вам необходимо удалиться на хутор; с Авачи все уйдут и скот угонят. Прощай; если Богу угодно не дать нам свидеться, то вспомни – что и жизнь долга ли? Рано ли, поздно ли придется расстаться».

«Будь покойна, ежели будет десант, мы его возьмем в штыки – тут наша возьмет. Живите на месте, не беспокойтесь. Хлеб мы ночью убрали, чтобы шальная бомба не заставила нас голодать. Отстоим с честью, бог поможет, сохраним русское имя и покажем в истории, как русские сохраняют честь Отечества. Молись за нас. Благослови детей».

«Ежели меня убьют, я оставляю вас спокойно. Твоя христианская покорность воле божией поддержит тебя, и сам бог научит, что предпринять для блага детей. Учи их быть честными, трудолюбивыми, и в случае нужды пусть будут готовы положить жизнь за царя и Отечество. Я вам не оставляю состояния, но умру спокойно, Бог вас не оставит, отцом вам будет Государь».

«Бог за нас, сей день десанту было до 800 человек. Бог нас хранит – отбили».

«Вчера по окончании сражения я послал по скорости к тебе известие и саблю. Сегодня посылаю тебе знамя, отнятое нами в бою от 800 человек, а нас было в разных местах до 300. Бог сохранил нас. Тучи бомб были брошены в город, но пожары были незначительные, их скоро тушили, сгорел только рыбный сарай. Убитых у нас до 20 человек и раненых до 70, а неприятелей мы похоронили до 37, между ними есть и офицеры. Двое в плену. Утопили неприятельский баркас, и с Никольской горы при отступлении их много убито и потонуло. Сегодня день будет спокойный, они пошли хоронить своих в Тарью. Сберегите знамя. Молитесь и надейтесь на Бога. А. П. [Максутов] ранен, он герой, мы ему многим обязаны. Не беспокойся».

«Неприятель ретировался. В море на беду показалось наше судно, но туман такой накрыл, что хоть глаз выколи. Когда совсем скроется, пришло за вами, до тех пор терпение».

Без напыщенного патриотизма, глубоко трогательно звучат слова десятилетнего мальчика-кантониста:

«Был в числе раненых маленький кантонист: по недостатку людей они подавали картузы на батареях; ему оторвало руку. Когда делали операцию, доктор спрашивает его: «Больно тебе?» (Мальчик, не стонал.) «Больно-то, больно, ваше высокоблагородие, да ведь я родился царским слугой, значит, не только руку, но и жизнь должен за царя положить». Этот ответ ребенка доказывает, какой дух был вселен в тамошние команды».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

ЮЛИЯ ЗАВОЙКО. ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О КАМЧАТКЕ И АМУРЕ»

Юлия Завойко – жена руководителя петропавловской обороны генерал-майора В. С. Завойко. В год Петропавловского боя ей было 35 лет: она родилась 2 марта 1819 года. Ее отец Георг Густав Людвиг Врангель в молодости был профессором лицея в Царском Селе. Позже участвовал в работах комиссии Сперанского по составлению собрания законов. В середине XIX века преподавал в Петербургском университете. Мать Юлии – Прасковья Яковкина была дочерью профессора университета Ильи Яковкина. Юлия получила хорошее домашнее образование, обладала самыми разнообразными способностями, в том числе литературными, в чем легко может убедиться читатель ее ярких воспоминаний, разделяла со своим мужем все трудности многолетней жизни на Дальнем Востоке, помогла ему создать большую крепкую семью. В дни обороны Петропавловска у нее уже было 9 детей (в 1855 – 10), и, естественно, их надо было эвакуировать в надежное, безопасное место. Истории этой эвакуации и посвящена эта часть ее воспоминаний.

Юлия Завойко была племянницей выдающегося исследователя Дальнего Востока и Аляски Ф. П. Врангеля. В некоторых источниках утверждается, что она была двоюродной сестрой героев Петропавловской обороны – братьев Максутовых.

«... В марте 1854 года зимняя почта привезла известие о разрыве с Турцией и о возможности войны.

С ранней весны закипела работа; воздвигались батареи; на Кошке, на перешейке, на Сигнальном мысу; предполагались батареи: на Петровской горке, за кладбищем, на Красном Яру, на Косе, на берегу озера, для защиты от десанта. Шли разнообразные толки; были всевозможные предположения.

Море вскрылось и послало свои богатые дары.

В эту весну улов селетки был необыкновенный. Вода в бухточке казалась серебристою от множества рыбы. Закинув невод, наполняли разом лодки две или три. Мелкая рыба, селетка и корюшка – первая камчатская гостья; за ней из породы красной рыбы следует огромная и превосходная на вкус чавыча; потом несколько различных родов красной рыбы, схожей с лососиной и семгой, идут в необыкновенном количестве в продолжение всего лета, вплоть до осени. Началось заготовление ее на зиму, солка в больших размерах.

Между тем все, особливо же мы, женщины, с невольным трепетом посматривали на море. Придет ли запас муки? Не помешают ли неприятельские суда подвозу продовольствия? Поговаривают даже, что раздачу ржаной муки придется ограничить, ежели к 1-му июля не подойдут суда с главным продовольствием. Что касается до так называемых предметов роскоши, сделавшихся, впрочем, по привычке для нас необходимостью, то от многого приходилось уже отказываться. Булки подаются лишь изредка, как величайшее лакомство; сахар к чаю дается вприкуску, почти в наглядку. Мои старшие дети отказываются от своего кусочка и берегут его для младших или больных.

По обыкновению в мае ушли транспортные суда на Амур и на Аян. Опустело в порте. Команды осталось не много, но работа по устройству батарей шла деятельно,

вперемешку с военными учениями. Туземные жители и жительницы порта ничего подобного еще не видали. Потому при всяком удобном случае все народонаселение маленького городка, и дамы, и женщины, и дети, и старики, идут смотреть воздвигающиеся батареи и пушки, кажушиеся по своей величине чуть не чудом.

Наконец, после долгого ожидания сигнал: на Бабушке дым. Бабушкой называется утес у входного мыса, на котором устроен маленький обсервационный пункт. Когда оттуда завидят судно, сейчас разводят костер. Потом дают знать, по условным сигналам, какой нации принадлежит судно, сколько мачт, торговое или военное и т. д. до малейшей подробности.

У всех нас невольно дрогнуло сердце! В этом году всякий раз дым на Бабушке приносил с собой мучительную тревогу.

Узнали, наконец, что идет корвет «Оливуца», принадлежавший к Камчатской флотилии и бывший в то время при эскадре адмирала Путятина. Почты из России на нем не было; только уведомление от адмирала о вероятности войны и частные рассказы о Синопской битве; газет также не было. Предстоящая война и известие о победе возбуждали более и более бодрый, воинственный дух этой малой горсти людей. Кроме того, все радовались свиданию с сослуживцами, с добрыми знакомыми, с близкими родными.

Радость оживила все заброшенное население; хотя провизии не прибавилось, но летнее изобилие рыбы (это было в конце мая) устраняло настоящую нужду; к мелким же лишениям все попривыкли.

Воспользовавшись теплом, весеннею, тихою погодой (что не часто бывает в Камчатке, где преобладает туман и сырость), отправилось большое общество, офицеры, мое семейство и несколько дам с детьми, к Светлому ключику пить чай. Летом в Камчатке экипажей нет; все шли пешком; чай с его весьма скромными принадлежностями принесли в корзинах. Уселись на лужайке под развесистыми березками; шиповник в цвету наполняет своим ароматом воздух, везде пестреют цветы. Сзади торчит снежная верхушка Авачи; впереди огромным зеркалом блестит круглая бухта, оцепленная горами, и виднеется ее таинственный вход; подле бьет прозрачный ключик.

Напилась чаю, наболтались, нашутились; в дружеском обществе веселая шутка не заставляет себя ждать. Дети бегают, прыгают, как козлята; покуда они не знают ни забот, ни тревог. Бедный люд на Руси богат детьми. Я сама тому живой пример: у меня их выросло десятеро; а в моей длинной-длинной жизни я не испытала еще, что значит жить и не ломать себе постоянно голову: как бы тут, как бы там урезать, чтобы свести концы с концами. В Камчатке со всеми семействами было то же. Да и на Руси и, пожалуй, на всем свете, это обыкновенная участь многосемейных, с весьма немногими исключениями.

Общий разговор невольно склонился на возможность прихода неприятеля; тогда составлялись предположения, что они пришлют судна два, три. Через китоловные суда хорошо известна была везде малочисленность народонаселения Петропавловска. Много говорилось об этом, даже старшие дети притихли и ловили слова. Между прочим решили, если будет бомбардировка, то выслать вон из города всех женщин и детей. Меня с детьми и другую даму, Губареву, у которой их было шестеро, положили отправить на ее хутор, верст двадцать за селением Авача; там были домики, а с крошечными детьми под открытым небом ночью – плохо. Решили осудить себя на всевозможную экономию: неизвестно было, придут ли торговые суда, подвезут ли провизию. Возвращаясь домой, забыли, впрочем, серьезные разговоры, и вновь веселые шутки и песни огласили воздух.

Мое время почти все принадлежало детям. Им я давала уроки, с ними играла, гуляла, болтала. Вот сидим мы подле памятника Берингу у нас в саду, на лужайке; по ней маленькими каскадом течет ключик; это наше любимое местечко. С нами старик Кирилло, бывший денщиком мужа еще прежде, чем я вышла замуж, а с тех пор спутник всех моих странствований: на его руках росли дети, и мальчики и девочки; у него были ключи от всех годовых запасов, которые он берег больше жизни. Это тип вымерших слуг былого времени; мы на него смотрели как на родного; он давно умер, стариком лет под 70, и я до сих пор вспоминаю его как доброго друга.

– Собаки-то у нас все воют, да воют, – говорит Кирилло, – а судно таки не идет, ведь мука да сахар нас скоро на мель посадят!

По туземному поверью собачий вой – предвестник судна.

– Ну, собаки твои неправду говорят, Кирилло, они все воют, – замечает мой старший

сын.

В Камчатке у самого бедного хозяина собак до двадцати; они всегда на привязи, и по несколько раз в день поднимают свой концерт; они там вовсе не лают, их вой – обыкновенная камчатская музыка.

Но вот сигнал; все всполошилось. Дети со своим старым дядькой стремглав полетели в порт, узнать какие вести. Ветер спал, сделался мертвый штиль, и ночь покрыла своим мраком все и всех.

Ничего не известно.

Наутро сигналы привели всех в недоумение: было видно судно неизвестное нашим часовым; подумали, не неприятельское ли судно.

День был летний, теплый, солнечный. Ударили примерную тревогу, и маленький отряд, к которому присоединились вестовые, писаря, разночинцы, чиновники, даже мирные обыватели, мещане, купеческие дети, браво проходил по Большой Камчатской улице на учение с песнями.

Все вышли к адмиралтейству: и дамы, и дети, и бабы и ребятишки. Все обращались ко мне с вопросом, что делать. «Подождем, и если удостоверимся что это неприятель, то пойдем на Калахтырку, на хутор. Теперь еще подождем». Прошло еще часа три томительной неизвестности. Наконец узнали, что идет русский военный фрегат. О, как все ему обрадовались! Это родной, русский, из далекой, но всем милой родины. Вот он входит при тихом вечернем ветерке. В Камчатке давно-давно не видали такого большого судна, да ведь там все было в диковинку. Поехал туда офицер и чиновник. Убили быка, повезли свежинки дорогим гостям.

Узнали, что это фрегат «Аврора»; он стоял в Калао вместе с англо-французскою эскадрой; там ожидали с часу на час известия о разрыве. И фрегат, снявшись в Калао с якоря, во избежание встречи с многочисленным неприятелем, не заходя никуда, нигде

не запасаясь провизией, молодецки совершил свой длинный переход и пришел в Петропавловск 19-го июня.

Следующий день было воскресенье; у нас обедали офицеры. Пришедших издалека сослуживцев встречаешь, как родных, и тут скоро перезнакомились и сблизились. И я, по крайней мере, вспоминаю авроровцев как близких, да и они, полагаю, лихом нас не помянут.

Между тем опять сигнал: судно в море. Отправились на Сигнальный мыс гулять и любоваться красивою местностью. Наконец узнали, что идет судно, давно желанное, давно ожидаемое судно Русско-Американской компании, с провизией и почтой. Вы, которые досадуете, что почта опоздала день-два, вообразите чувство, с которым ее получаешь после шести месяцев.

С приходом судов все оживилось, все бегало, покупало, кому насколько позволяли средства, хотя судно «Камчатка» привезло муки и не в достаточном количестве на целый год для продовольствия увеличившегося народонаселения, но, приободрившись тем, что опасность голода отдалилась, мы не унывали. Корвет «Оливуца» ушел на Амур. Фрегат, утомленный тяжелым переходом, должен был отдохнуть. Работа кипела на батареях и везде в порту. Мужа я, с нашим переселением в Камчатку, привыкла видеть только за обедом; он был везде сам, и все делалось под его личным надзором и по его инициативе. Батареи росли как по волшебству; батарея на Косе невероятно скоро оделась крепким бруствером. Готовили помещения для фрегатской команды и офицеров. Эти помещения надо достроить – 400 человек прибавилось, а это не шутка там, где все помещения были рассчитаны всего-навсего человек на 400.

Пришло тем временем и американское торговое судно, и на нем пришло извещение о том, что война объявлена. Ко всему человек привыкает, и к мысли о военных действиях привыкли. Все жители пошили себе палатки. Торговое компанейское судно ушло.

Наконец пришел наш большой транспорт «Двина», привез 300 человек солдат, военного инженера и формальное известие, что объявлена война.

Еще больше все оживилось: как бы по волшебству вырастали новые батареи; построили

батарею на перешейке; на Красном Яру, насупротив Сигнального мыса; впереди города на Петровской горе; подле Никольской горы, на Кошке, и небольшую батарею на берегу озера. Так как по предположению фрегат должен был стоять одним бортом ошвартовавшись, то с другого борта сняли пушки для батарей, потому что присланных года за два пред тем было далеко недостаточно, чтобы вооружить все укрепления.

У нас всегда собиралось большое общество. Особенно весело было, когда собирались к ужину. Вероятно, многие из бывших тогда у нас помнят тот звонкий смех, который так заразительно раздавался и которому так дружно, беззаботно вторили.

Вскоре после прихода «Двины» были собраны в одно праздничное утро на площадь все команды. Прочитали им объявление войны, потом был прочитан приказ губернатора (мужа), который сам после того увещевал всех сражаться до последней крайности; если же вражеская сила будет неодолима, то умереть не думая об отступлении. Все выразили готовность скорее умереть, чем отступить. После чего служили молебен.

... Начало августа было холодное, сырое, туманное. Все закрыто серою пеленой, не видать даже входа. Но вот прочистилось. Сигнал: судно в море. Оно вошло. То было зафрахтованное Российско-Американской компанией судно «Магдалина». Оно шло прямо из Гамбурга, не заходя решительно никуда, чтобы не попасться неприятелю. Оно привезло драгоценную для нас муку и чай. Все опасения устранены. Хлеба довольно, голодать не будем.

Во время веселых ужинов предположено было разыграть любительский спектакль; за эту мысль ухватились с восторгом. Стали перебирать пригодные для того пьесы; говорили, спорили об этом предмете с увлечением. 15-го августа решили прочесть «Ревизора»; на нем после долгих, шумных обсуждений и остановились. Собрались большим обществом офицеры, чиновники и те из дам, которые соглашались участвовать в спектакле. При чтении было много веселых, шумных суждений и шуток; распределили роли; все остались весьма довольны. Назначили даже на главные роли по два кандидата, говоря: убьют одного, другой заменит.

Развлечение необходимо в такой пустыне; но не суждено было исполниться этому веселому предприятию.

17-го августа утром мои старшие дети, Жора 12, Степа 10 лет, принялись со мною за урок истории; Паша, 8 лет, занимается чистописанием; Маша и Катя, 7 и 6 лет, шьют подле меня. Гувернантки у меня нет, и дети всегда со мною. Вот выставляется в дверь старая голова Кириллы с таинственным шепотом:

– Сударыня, судно в море.

Кто бы это мог быть? Неужели неприятель!

– Маменька, душенька, позвольте нам идти в сад; от Берингова памятника виден Сигнальный мыс, мы увидим все сигналы; а ведь у меня и сигнальная книжечка вся срисована, заговорил живой, деятельный Жорж, – пойдите с нами, мы там все узнаем и в порт нечего бегать; мы после обеда нагоним урок.

Все пошли. Чрез несколько минут сигнал: неприятельская эскадра.

Не могу выразить страшного чувства, стеснившего мое сердце при этом известии, парализовавшего все мои силы, всю способность действовать.

Дети растерянно бегали взад и вперед. Кирилло стоял подле и усиленно сморкался. В трудные минуты я привыкла молиться; теперь не могла. Мысли замерли. Я сидела на своей скамейке не шевелясь, не думая ничего, не слыша ничего, почти потеряв сознание.

Прибежал мой двоюродный брат.

– Где Василий Степанович?

– В порте, ему теперь некогда, он придет к обеду.

– Правда ли, что неприятель идет?

– Правда; мужайтесь, пора действовать.

Его несколько неподвижное лицо не было бледнее обыкновенного, только губы немножко сжались, да глаза приняли необычный блеск.

– У вас на руках девять человек мал мала меньше; не забывайте их.

Я пошла в свою комнату, и там пред моим благословенным образом просила той силы, которой не чувствовала в себе.

Чрез несколько минут старик Кирилло, я, старшие дети, мои женщины, мой пьяненький повар, стали переносить все наши драгоценные годовые запасы: муку, сахар, чай, масло, кофе, вино, белье и все, что в такой большой семье необходимо, и укладывать все это в овощной погреб в саду; он глубоко завален землею, и мы считали тут свое имущество безопасным от бомб и пожаров. Рук для помощи у нас не было; денщики и вестовые были расписаны по местам и уже ушли.

Собрались все к обеду; когда пришел муж, он сейчас же спросил меня:

– Убрались ли?

– Почти, – отвечала я.

После обеда ты с детьми пойдешь вместе с Губаревой на Авачу; оттуда Мутовин перевезет вас на хутор.

– Нельзя ли мне остаться на Калахтырке? Это ближе.

– Нельзя, мы детей переморим в сырости.

– Ну, хоть на Сероглазку?

– Места там мало, и лучше поместить туда таких, у кого не много ребятишек. Надо идти на хутор. Здесь бомбами может разрушить дома, мы не имеем права подвергать детей ненужной опасности.

Сели за стол. Вестовых уже не было, подавал старик Кирилло. Женщины из прислуги толкались без дела, без мысли, со стоном и оханьем, подчас причитыванием. Маленькие дети были оставлены на произвол; добрый А. П. [Максутов], только пришедшей на «Аврору», но несмотря на кратковременное знакомство, душевно с нами и сдружившийся, занимался с детьми и шутил с ними. Вообще за обедом шутили и болтали.

– Кушайте, кушайте дети; ведь надо двенадцать верст пешком идти; устанете, сил не хватит, – говорил отец.

Но, несмотря на эти увещевания, кусок положительно в горло не шел. Старшие дети привыкли делить все с родителями, и они не ели и украдкой глотали слезы.

Встали из-за стола, распростились с добрыми друзьями и близкими, с которыми так дружно жили. Молчаливые слезы текли по личикам детей. Но вот настало еще более мучительное прощание. Дети зарыдали в голос. Отец благословил их, сказав каждому свой завет: старшим он говорил:

– Будьте честными слугами Царя и Отечества. Не забывайте, что ваш отец готовится положить за него жизнь!

С молодых лет он службе посвящал все силы, и готовясь к смерти, передавал этот завет детям. Простились и мы... Дружно провели мы всю молодость в пустыне, среди забот и лишений.

Вдруг раздался болезненный, пронзительный вопль Жори:

– Маменька, оставьте меня с папенькой, ведь он остается один, один... С вами все восемь. Оставьте меня с ним; я умру подле него.

– Друг мой, – отвечает отец, – меня долг призывает умереть, а тебе, дитя мое, как старшему, я поручаю маму, сестер и братьев. Из любви ко мне иди с ними, заступи мое место, береги их.

Мальчик умолк.

Пора! Нам предстоит двенадцать верст ходьбы; летом экипажей у нас нет. Нам в помощь остался, кроме моего Кириллы, старик камчадал Дурынин, случившийся на ту пору в городе. По уходе мужчин Кирилло стал меня торопить уходить скорее. Он заберет все нужное и догонит нас.

Вышли мы из нашего дома, спустились с нашей горки – наш дом расположен был на склоне, у самой подошвы; помолились на церковь; и тут же на перекрестке

присоединились к нам товарищи нашего бегства, Губарева с шестью детьми; к ним на хутор шли мы и г-жа Клинген с двумя детьми. Мы были с нею очень дружны, и я, зная до какой степени она труслива и непрактична, пригласила ее идти с нами, чтобы поддержать ее и помочь ей. Губарева же была очень практичная и сметливая барыня, она мне была весьма полезна. Все шли молча и плакали, кто с узлом, кто с ребенком на руках. Старшие дети шли кучкой молча; наши и губаревские подходили по летам друг к другу. Дорогу сильно разгрязнило; перед тем шли продолжительные дожди. Идти трудно, скользко. Надо то подниматься на гору, то спускаться. Мои старшие мальчики берегут меня как взрослые; поддерживают, ведут под руку.

– Вот пароход входит, – воскликнула Губарева, взобравшись первая на гору, по которой с трудом карабкались все остальные. С оханьем шли старухи няни с малютками на руках; у меня ноги так и расползались, ходить бойко я и смолodu гораздо не была. Все собрались вокруг нее, и следили глазами по тому направлению, куда она указывала. Из всех нас, кроме меня, никто не видывал парохода, и мои спутницы выказали немало удивления: как это, при совершенном штиле, труба дымит, судно движется... Несмотря на любопытство и удивление, у всех сжалось сердце, брызнули слезы.

– А что, спросила меня Губарева, – ежели он станет палить в нашу сторону, попадет он в нас?

Теперь на подобный вопрос я, наверно, ответила бы отрицательно; впрочем, я в этом судья не компетентный, тогда же сказала на удачу: «Быть может».

В ту пору моим товаркам казалось, что нас заберут в плен; теперь это смешно: завидная, подумаешь, добыча – чуть не двадцать ребятишек... Но тогда мы решили, ежели суда войдут в бухту, то мы на Аваче не останемся на ночь; селение расположено на низменном берегу большой губы; обогреемся только, обсушимся, накормим детей, и пойдем на батах вверх по реке Аваче, ночевать будем в лесу.

– Смотрите, – продолжала Губарева, – вон во входе виднеется какое огромное судно. Идем далее. Молча продолжали мы свой тяжелый, утомительный путь. Бедная г-жа Клинген, не привычная к ходьбе, плакала и приходила в отчаяние. Мы всеми силами старались ободрить ее. Для меня личное, настоящее не существовало, все делалось машинально, под влиянием необходимости. Была одна только живая, жгучая мысль:

сохранить ли Бог мужа. Речки мы переходим вброд, на ногах якутские сары; хотя они и не промокают, но ноги болят и сильно устали. Остановились на Сероглазке, накормили малюток, немножко передохнули – и опять в тяжелый путь; солнце уже спускается на горизонте, а идти еще далеко.

После долгой тяжелой ходьбы вошли мы на мысок к Аваче; давно уже няни стонут от усталости; матери взяли у них крошек и несут сами, еле передвигая ноги. Смотрим на бухту – судов нет. Смеркается. Спустились на Кошку. Вот и наш старик Кирилло выезжает из кустов, утирая пот с лица, и поддерживает верхом наложенный воз, который с трудом тащит измученная лошадедка.

– Господи, боже мой! Да как это ты, голубчик Кириллушка, тут с целым-то возом проехал? – спрашивает Губарева, – И пешком-то еле продерешься, да и скользко по горам, не приведи господи.

– Почитай на себе ташил; да ведь и кушать-то всем надо, да и малюточкам-то хоть подушки захватить надо. А долго ль супостат-то простоит, бог ведает. Умаялся крепко, да все привез, что нужно, слава те господи.

Добрая ты душа, старый, верный друг! Никакие труды не были тебе страшны для твоих господь, для милых детей, выросших на твоих старых руках!

Пришли, наконец, усталые странницы; в маленькой хижинке недостаточно лавок, чтобы всем усесться. Принесли сена. Усадили и уложили усталых детей, расправили наболевшие члены. Маленький Вася, четырех лет, шел все время пешком; идти на руки казалось унижительным для четырехлетнего самолюбия. Разгрузил свой воз добрый старик. Напоили детей чаем, накормили их, и скоро они заснули безмятежным сном на сене, в тесной избушке.

Не спали мы, матери, выходили беспрестанно из хижинки. Высматривали, прислушивались; чего не перечудилось нам в ту ночь! Чего мы не передумали! Все тихо, только слышится тихий плеск прилива у берега, мерное журчание волны; да вот затянула свой жалобный вой собака, и тут, и там, и сям, и везде подхватили и затянули свой плачевный концерт. Смолкли. Тихо. Вот будто детский плачь – то стонет

проснувшаяся спугнутая чайка, уныло, протяжно. Смолкло, стихло.

Не хотелось мне идти дальше; страшно в такую минуту оставлять мужа; еще с вечера отправила я обратно лошадь в порт и просила старика-крестьянина снести мою записку к мужу. Часа в три ночи он принес мне в ответ следующую записку от мужа:

«Неприятель поднял американский флаг. Всего шесть судов: четыре фрегата, пароход и бриг. Бог за правое дело: мы их разобьем. Кто останется жив, про то бог знает. Но мы веселы и тебе желаем не скучать. Останусь жив – увидимся, не останусь – Бог так велел. Царь детей не оставит, а ты сохрани их, чтоб они были люди честные и служили Отечеству. Вам необходимо удалиться на хутор; с Авачи все уйдут и скот угонят. Прощай; если Богу угодно не дать нам свидеться, то вспомни что и жизнь долга ли? Рано ли, поздно ли придется расстаться».

Детей подняли чуть свет, их напоили чаем, надо было предпринимать дальнейшее путешествие. Заливчик или, лучше сказать, устье речки Авачи так мелко, что во время отлива даже и бат не может пройти по нему. Приходилось ехать очень рано.

Что такое бат? Первобытная лодка или огромное корыто, выдолбленное из одного тополя и заостренное с обоих концов. Нет ничего неприятнее путешествия в бате: сидишь на дне, вытянув ноги, неподвижно; он так валок, что того и гляди перевернешься. По быстрым рекам идут вверх, опираясь шестью; иной раз, если быстрота не очень сильна, гребут.

В губе еще тихо, пустынно, судов не видать. Пошли мы с Губаревой искать по деревеньке батов, чтоб ехать дальше. С трудом нашли четыре бата и восемь человек гребцов-крестьян для переезда на хутор. Сговорились. Наконец-то удалось рассадить в эти баты все маленькое народонаселение. Отправились. Скрылась Сигнальная гора за лесистыми зелеными берегами реки Авачи. Ужасен был этот миг: там оставалось все счастье! А что впереди?

Медленно, утомительно, грустно было это путешествие. Вообще подыматься по быстрой речке трудно. После двухчасового пути остановились у островка, чтобы хоть несколько расправить члены от неподвижного положения. Наконец после долгого пути маленькое

общество приехало в хутор. У Губаревой был свой дом. Я и Клинген расположились в домике отставного унтер-офицера старика Мутовина. Дом из двух маленьких комнаток, наподобие наших крестьянских малороссийских хат. И за то слава богу, не под открытым небом.

Вскоре по проезде нашем на хутор пришли туда крестьяне с Авачи и рассказывали, что неприятельская эскадра вошла в числе шести больших судов, что с судов и с берега палили. Впрочем, день прошел тихо. Долго я со всеми детьми молилась, просила помощи, силы. Не описать того, что тогда происходило в моей душе. Наступил вечер, постлали досок, устроили что-то вроде нар, постлали сена и уложили детей.

Тихо все вокруг, глухая ночь. Вдруг конский топот, говор многих людей... Все вскочили, переполошились; то были русские матросы, жившие на рыбной ловле, на угольных ямах; они торопились в порт, сражаться, умирать. На другой, на третий день проходили мимо хутора баты, нагруженные камчадалами; вооруженные винтовками, они бодро шли встать против регулярного англо-французского войска.

19-го августа день тянулся тихо, к вечеру пришел старичок-казак Константинов из порта; я его еще с вечера туда посылала за известиями. Он привез записку от мужа. Вот выписка из письма:

«Мы полагали что неприятель, придя с такими превосходными силами, сейчас же сделает нападение. Не тут-то было. По всей вероятности, он нас считает гораздо сильнее. Это дает нам полную надежду, что с божией помощью выйдем с честью и славой из этой борьбы. Жаль, попался Усов с баркасом, с кирпичами, шедшими с кирпичного завода; но кирпич еще не трофей. Не беспокойся, молись Богу, береги детей. Мы поменялись выстрелами, но их бомбы и ядра куда были к нам вежливы».

За ночь перед тем пришла мать Губаревой со своим скотом, пришел портовой скот, наш еще не приходил. Каждого посланного много расспрашивали. Так, узнав, что наш повар неисправен, я отправила в порт свою женщину Харитину. Губарева отправила свою мать. Рассказывали, что все жители зарыли свои запасы в землю и ходят кто на Калахтырку, кто на Сероглазку, но как это не далеко, то на ночь часто возвращаются домой.

20-го августа небо было совершенно ясно, солнце ярко светило. Поднялись с тоской неизвестности в сердце. Вдруг раздался какой-то странный, неясственный гул. Я вышла из домика. Старик Мутовин, налаживавший сети, вдруг все оставил и припал ухом к земле.

– Что, Мутовин, палят?

– Палят. Прилягте. Слушайте, как земля дрожит и стонет, стонет.

Действительно, припав к земле, можно было слышать сильную, частую канонаду, ощущалось, как бы земля дрожит; и от сотрясения происходил какой-то звук, правильно назвал его старик стоном. Дружно, и я, и старик стала креститься, и у нас обоих брызнули слезы. Вскоре вышли все и, узнав в чем дело, затрепетали и залились слезами. Трудно забыть этот страшный, раздирающий звук; каждую минуту казалось: вот-вот этот выстрел унес именно ту жизнь, которая нам всего дороже, за которую всего более трепещешь.

– Нельзя ли откуда-нибудь с горы видеть губу?

– Есть тут недалеко хребтик, версты две отсюда будет.

– Веди, ведем нас, старик!

Отправились мы все вслед за стариком; и действительно, взойдя на открытую вершину, явственно увидели вдали Авачинскую губу с окружающими ее горами, который издали казались каменным зеленым забором. Видны и неприятельские суда; пальба непрерывная, издали они кажутся все в пламени и дыме. Старик Дурынин пошел с нами на горку; накануне он шел на батах со своими земляками в порт, мимо нас, да прихворнулось старичку, и остался у знакомых, чайку напиться да отдохнуть.

– А отдохну, глядь-ка, и не одного супостата положу. – Так-то вот руки трясутся, а палить стану, небось, не дрогнет, в глаз намечу, в глаз и возьму.

Дурынин промаха не дает; скольких медведей уложил – за сорок перевалило. Вот влез он на березу и говорить:

– Смотри-ка! Вон оно, большое-то судно, вишь оно все в огне! Горит оно! Как хоть горит!

– А чье оно? Супостатов, что ли?

Супостатов-то оно супостатов, да только не горит оно, а стреляют больно часто.

Вот и по ущелине, где лежит порт, его очертаний не видно, нет-нет да и пробежит белая струйка. Я знала, что порошу у нас не очень-то много. Страшно сжалось сердце. Господи, неужели они весь порох исстреляли, и неприятель теперь бьет их безнаказанно!

– Как хочешь, барыня, – повторяет неугомонный старик Дурынин, – вон горит он, вишь ты, снастей не видать. Тонет! Потонуло окаянное!

Даже Губарева стала поддаваться наивным надеждам старика. Было далеко, да и кто не знает, как вода, дым и солнце обманывают зрение. Кто, бывший у моря, не знает обманчивых миражей! Часа три сидели мы все на горке. Многие из детей пробовали по примеру старика лазить на березку и сообщали то, что им казалось: и суда-то горели и тонули, и в порте горело. Но умолкала на время канонада, ветер разносил дым, и явственно виднелись эти шесть вражьих фигур. Что делалось в порте, было трудно видеть. Пригрело нас солнышко, но благотворный луч надежды не проникал в истомленные тоскою сердца. Господи, господи, что готовишь ты этим невинным, маленьким детям? Сиротство, нищету... и в этой отдаленной пустыне, где и под защитой друга и покровителя жизнь далеко не легка. Время от времени кто-нибудь из детей всхлипывая произносит: «Папа, папа!» Либо слышался детский голосок, полный детской веры: «Господи, помоги! Господи, сохрани папу!»

С сердцем, полным тоски, побрели мы домой; пальба слышалась реже, менее явственно. Только припав к земле, слышно было, как она время от времени вздрагивала. Возвратясь домой, встретили мы старика камчадала, который привез несколько провизии – муки, чаю, сахару, шкатулку с самыми нужнейшими бумагами, не с денежными, а с деловыми. Записки не было. Страх на нас напал. К вечеру пришел наш скот. Долго мы сидели с детьми, с горки нам казалось (впрочем, на этот раз ошибочно), что самый сильный огонь направлен был на перешеек. Перешеечную батареей командовал А. П. [Максутов] Дети его часто вспоминали: он такой добрый, милый, жив ли он? Потом все кричали: «Папа, папа!» – и кончалось горькими, неутешными слезами.

21-го августа я послала старика в город, узнать, что там. Между тем стали рыть ямы, чтобы спрятать хлеб. О войне и ее правилах я сама имела весьма смутное понятие. Еще разве о Двенадцатом Годе случалось читать или слышать рассказы очевидцев. Мои же товарищи бегства и никакого о том понятия не имели. Нам мерещилось, кончится там все, так придут, да у нас детей отнимут. Нелогично, но мы были в пустыне и, сопоставляя разные эпизоды рассказов 1812 года, не находили тут ничего несообразного. Пошли на нашу горку; стоят суда смирно, все спокойно.

Около шести часов вечера кричат: «Бат идет вверх по реке». Бросились все навстречу. Я получила записочки. Все это читалось вслух, все кругом толпилось – и дети, и мои товарки по бегству, и мои верные старики. Чтение прерывалось иногда всхлипыванием, иногда широким русским крестом.

«Бог милостив, я жив и не ранен. Сегодня день был жаркий... Бог за нас! В город падает много бомб, и многие не разрывает. Убитых до десяти человек, раненых столько же. Не любят французы и англичане штыков, удалились от них. Работы жаркой будет дня два, три. Флага мы им не отдадим ни одного, истреляем весь порох, сожжем суда. Все под Богом ходим. Молись Богу».

Приписали мне и другие близкие теплое, доброе, ободрительное слово. Писал Лохвицкий, правитель канцелярии мужа.

«Святым Промыслом и общими молитвами нынешний день прошел счастливо, убитых и раненых очень мало. Из офицеров ранен один Гаврилов, но не тяжело. В

Петропавловске еще не сожжен ни один дом. Мы бережем людей. Жизнь Василия Степановича, как залог благоденствия всей области, мы бережем всеми силами. Харитина под бомбами разносит нам закуски».

Не было конца расспросам старику; на многое отвечал он весьма удовлетворительно. Поименовал всех убитых и раненых. Там ведь все друг друга знали. Вечер все провели вместе, принялись щипать корпию, делать бинты. Как будто полегчало на сердце, несмотря на тоску ужасной неизвестности.

22-го августа на утро пришли еще баты с провизией. Была записка от мужа:

«Будь покойна, ежели будет десант, мы его возьмем в штыки – тут наша возьмет. Живите на месте, не беспокойтесь. Хлеб мы ночью убрали, чтобы шальная бомба не заставила нас голодать. Отстоим с честью, бог поможет, сохраним русское имя и покажем в истории, как русские сохраняют честь Отечества. Молись за нас. Благослови детей».

День прошел мирно, перестрелки не было слышно. После обеда пришла наша Харитина и принесла мне письма наших близких к родным и друзьям в Россию, на случай их смерти. Много она нам рассказывала об ужасах канонады. Рассказывала, как она в 12 часов, забрав закуску и вино, ходила к нашим на батарее:

– Иду, – говорит она, – с узлом, а над головой вдруг свистит, страшно свистит, так я и присяду, либо под заборчик прилягу; да и думаю себе, когда же приду-то, коли все так будет? Двух смертей не бывать, одной не миновать. Нечего им кланяться, пусть себе свистят. Ну встала и, перекрестившись, пошла дальше. Ко всем снесла, и к Д. П. на Кошку, и к барину, и к А. П. на перешеек. Никого не забыла, ведь проголодались сердечные. Экой день-то, господи, страшный выдался. По ночам все жители закапывают свои запасы, днем же в порту из женщин никого нету, только я да Губаревой матушка и ходим.

Рассказывала она, что по-прежнему все собираются около мужа; за ужином, как и в мирное время, хохочут, болтают, молодежь поет иногда песни. Ночью она с матерью Губаревой ушла опять в порт.

Харитина моя была толстая-претолстая поселщица-молоканка, великий теолог в юбке, не умея читать, она вас текстами так и засыплет; она была малороссиянка. Впоследствии из молоканства она обратилась в православие, и стала великою постницей.

23-е августа прошло тихо. Молились, щипали корпию, ходили на хребтик; все спокойно в бухте; суда стоят по-прежнему, пальбы нет. На хуторе мы преимущественно кормились рыбою и молоком, так как скот был при нас. Старик Мутовин ловил рыбу, Кирилло варил ее.

24-е августа. Чу! Дрогнула земля, застонала, началась канонада.

Все мы пошли на хребтик. Опытный, зоркий глаз старого Мутовина верно определил место действия.

— Они бьют через перешеек и через озеро. Сдается мне, что повезли людей на берег, чернеет что-то на губе, кажется, баркасы.

Я сама ничего не понимала, только слушала стон земли; всякая мысль замерла.

— Вот, вот загорелось, — продолжал Мутовин.

— Что, что горит?

— Кажись, рыбный сарайчик на косе.

Просили старика смотреть, не горит ли еще где.

– Нет, коли бы горело где, то уж разглядел бы.

Долго сидели мы и смотрели вдаль, почти ничего не видя, кроме очертаний судов то в дыму и огне, то чистых, да по горам в направлении порта то там, то тут пронесется дымок. Господи, как это было неизъяснимо мучительно! Наконец, стихло; пошли мы с нашей горки с тяжелым, тяжелым сердцем; никто не мог знать что там такое. День тянулся медленно; все чувства были напряжены, истомлены неизвестностью, ожиданием.

Наконец, поздно вечером закричали с той стороны реки: «Бат давайте!» Перевезли, – то был старый казацкий унтер-офицер Константинов, пришел он пешком, несет саблю, которую и подал мне вместе с запиской; вот она:

«Бог за нас, сей день десанту было до 800 человек. Бог нас хранит – отбили».

Какое действие произвела эта коротенькая записка, этого невозможно описать. Старик еле держался на ногах; усадила его, напоила чаем и забросала вопросами. Не очень-то последовательны были его рассказы; да и мы сами были до того возбуждены, что с трудом его понимали.

Продолжение следует